

О. А. Балла-Геррман

О непроходящем. Изготовление прошлого

Дикопись

Тело памяти. Библиоалгия

Разгребаешь книжные пласты, ищущи книгу, о которой даже не помнишь, есть она у тебя или нет. Помнишь только внешний вид, отыскиваешь взамен того её сестру по серии. Тут же возвращается, будто и не исчезало никуда: раннее, режущее начало девяностых, забытая и очень памятная лавка «Интербук» у Исторической библиотеки, в глубоком подземелье — что волновало особенно. Да где же эта книжка, Господи? Причём даже читала, это помнишь точно — но уже не вспомнить, своя она была или чужая, ибо перечитано было и того, и другого, и всякого на незабвенном рубеже восьмидесятых-девяностых в нерационализируемом и дико-во-все-стороны-торчащем избытке.

Книга — тело памяти. Личное книжное скопище — точнейшая запись ушедшей жизни. Имени «библиотеки» оно не заслужило, это слово — о другом. Библиотека, особенно крупная, даёт совершенно противоположный опыт: опыт приведения всего твоего существа в большой стройный порядок, спокойный, суровый, несуетный, просторный, — опыт вневременного. Она космична. А домашнее многокнижие, слепок с твоей хаотичной, будь она неладна, персональности и личной истории, окунает тебя с головой, как котёнка, в твои собственные темноты и провалы, надежды и иллюзии, в их режущие осколки.

Щупаешь книги, рассматриваешь их, обнюхиваешь (даже неважно уже, что именно ты при этом ищешь, — Бог с ним, нужную цитату можно сыскать хоть в той же Историчке, а собственной жизни и памяти нигде, кроме как дома на полках, не найдёшь), отдаёшь себе отчёт в том, что комками, большими сырыми комьями начитанное тогда — никакое не образование и, в общем-то, не за тем читалось. Это всего лишь спроецированный на книги, тяжёлый и слепой витальный избыток, тёмный эрос. Того же порядка эрос, что отвечает за отношения со всем мирозданием, разве что — со

всем сопутствующим человеческим мусором, злой суетой. Например, с жадой самоутверждения, включая вполне мелкие амбиции типа желания производить впечатление и выглядеть гораздо интереснее, а ещё лучше того — значительнее, чем NN, QQ или ZZ; с изживанием недостаточностей и уязвлённостей, и т. п. Это — такая боль, пережитая в книгах, в форме их чтения: библиоалгия, алгобиблия.

И, с отвращением читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю.

А пережить это снова? Да. Хотела бы. И, по существу, уже переживаешь — сейчас.

И тут-то, посреди книжного развала, книжной (сладкой, сладкой!) пыли, бессилия и досады на фатальную неорганизованность собственного существования, всё прожитое в те годы неожиданно берёт да и схлопывается в цельность. Собирается в картинку, обретает форму — становится полноценным прошлым. Вдруг понимаешь, зачем всё это было и сколько всего на этом держится. Каждому положено своё. Смутное время в жизни, у меня оно пришлось на перелом восьмидесятых-девяностых, настоящий, с болезненным хрустом, как перелом руки или ноги — по живому. Мнилось — зыбучие, текучие пески, болота, трясины. Теперь оказывается — прочный камень, основа, одна из основ.

Вот ведь. Чем дольше живешь, тем больше источников смысла и интенсивности открывается во времени, которое переживалось как очень невнятное, полное внутренних темнот. Прошлое — созревает; то, что переживается, — всего лишь сырьё для него. Сколько ни живи — оно никогда не созрело вполне: ему всегда ещё бродить и бродить. Человек всё время его выращивает в размер себе — даже когда не замечает. Собственно, тогда как раз лучше всего.

Жизнь — постоянная выработка прошлого. Как своего рода внутреннего топлива.

Отлежаться и враспи

Чтобы стать действительно Прошлым — «самим собой», — обрести цельность и собственные неповторимые интонации, прожитый кусок жизни должен в нас отлежаться. Не просто отодвинуться от нас на некоторую дистанцию (само по себе это ничего не даёт, хотя одним из условий, пожалуй,

и может считаться), но именно отлежаться — и слежаться: выработать, вырастить в процессе этого якобы пассивного, «бессобытийного» лежания устойчивые связи между своими элементами, дать проступить на своей поверхности некоторым, вначале неявным, краскам, которые позже будут господствовать в облике этой единицы прошлого. Чтобы набор изначально разрозненных элементов слепился в цельность, каждый элемент которой будет отныне означать все остальные (особая «голографичность» хорошо отлежавшегося, созревшего прошлого: в каждой его детали — оно целиком).

Причём трудно — если возможно вообще — сказать обобщённо, сколько времени нужно на такое отлёживание: от нескольких часов до многих лет. Отлежится — и, созрев, проступает в человеке, образуя неотъемлемый уже элемент среды его душевной жизни.

И ты понимаешь вдруг, что тоскуешь по нему. Что тебе его, дикого и трудного, сейчас не хватает.

Конечно, тоска по прошлому — это форма благодарности ему.

Любая ностальгия такого рода (ничего не говорит нам о качестве прошлого как такового; да и где оно «как таковое»?! — но) — всего лишь тоска по уходящей, по ушедшей жизни, тоска от самого факта ухода жизни. Что именно уходит — почти уже всё равно (даже если мы от этого уходящего, допустим, освобождаемся, — а в том прошлом, о котором мне на каждом шагу думается, ох как есть от чего освободиться). В этой ситуации оправданным и ценным оказывается автоматически всякое прошлое — уже потому, что оно было тогда, когда перед тобой оставалось больше (чем теперь) будущего. В прошлое-то (во всякие связанные с ним, пропитанные им места) отправляешься за будущим, и единственно за ним, — за тем чувством будущего, предчувствием его, уверенностью в его возможности, которого там (как видно отсюда) очень много, которым переполнена там — в твоём сегодняшнем воображении — каждая деталь.

Предметом тоски может стать что угодно — было бы оно в прошлом. Тоска — это же чувство недостатка бытия (что такое вожаемое «будущее», как не запасы бытия?). Мнится, что если бы удалось войти хоть в какой-то контакт

с предметом тоски — бытия у тебя сразу оказалось бы больше, — повысилась бы твоя онтологическая и витальная интенсивность.

Синдром, значит, онтологической недостаточности.

Впрочем, «молодость», независимо от своих реальных содержаний, — это такая точка интенсивности внутри, само воспоминание о которой приводит в движение готовые слежаться смысловые пласты.

Поэтому пусть себе вспоминается, пусть себе тоскуется — сколько бы ни было в этом преувеличений, а хоть бы даже и искажений. Здесь дело вообще не в «истинности» вспоминаемого — тем более что в каждую из эпох жизни у него разная истинность и всякий раз, кто бы мог подумать, — совершенно настоящая. Дело — только в динамике.

От истока

С течением времени сдвигается — вниз по его течению, всё дальше от истока — граница того прошлого, по которому хочется и получается тосковать. Забирая в себя новые, свежие области, перерабатывая и структурируя их в полноценный объект ностальгии, прошлое оставляет позади себя обширные, всё более безымянные, на глазах высыхающие области отлива.

Так свежей областью ностальгии, тоски по утраченному и несостоявшемуся обернулись вдруг девяностые, конец «двадцатых» годов моей жизни и начало «тридцатых». Годы, ещё совсем, казалось бы, недавно бывшие грудой сырого сырья, необработанным и даже неразобраным материалом для биографических заготовок. Не прошлое даже, а так, полунастоящее. И внутренней эстетики-то никакой внятной, тем более — уютной, у них вроде бы нет: как ни вспомнишь, бывало, девяностые, всё там, кажется, осень да ноябрь, холод и дождь, блестящий серый асфальт, металлический ветер. Но вот же вдруг, почти непонятно как, они взяли да сложились в цельный образ со своими узнаваемыми чертами. А где-то далеко позади море живой памяти схлынуло, оставив почти без влаги позднее детство, — оно всё дальше и дальше, не разглядеть начало и середину восьмидесятых — всё это отходит в область умозрительного предания (уже и не сразу вспоминаешь: по чему там следовало тосковать, по кому, кто эти адресаты тоски, её верные константы, по которым совсем

ещё недавно тосковалось автоматически, с полоборота? Их имена и лица уже подошли к границе забвения, хотя ещё не пересекли её — они становятся прозрачными.). И только начиная с конца восьмидесятых время наливается свежей влагой памяти, неотличимой от жизни.

Теперь и девяностые втягиваются в область острой благодарности времени просто за то, что оно было.

В девяностых — вынырнувших из своего вечного зябкого ноября — наступает, робко рассветает весна; поднимает высокий лоб молодой дикий апрель. Они принимают на себя роль той — подвижной, как выясняется, — точки, от которой отсчитываешь, с которой начинаешь «себя-теперешнюю».

Да что б мы делали без утрат.

(Оттого-то и ловишь себя на желании смотреть на настоящее, сиюминутное — так, будто оно уже прошло. Даже не готовиться тосковать по нему, а просто действительно тосковать, будто тебя отделяет от него (неизбежно?) идеализирующее расстояние, и видеть его как некоторую цельность, присущую обыкновенно только прошлому. Не просто драгоценность и хрупкость его предстают тебе — а как будто уже состоявшаяся разлука и превращённость всего в неизменное прошлое, которого-уже-никто-не-отнимет. Дома, детали, свет... как будто это было уже лет двадцать назад — и надёжно, защищающе утрачено. Как будто есть повод спросить об этом кого-то близкого и понимающего: «А помнишь?..»)

Очень задыхалась в те восьмидесятые-девяностые — а, оборачиваясь назад, вижу, насколько богатой смысловыми ресурсами была — оказалась — эта жизнь. Но кто мог это знать тогда. Случись у меня возможность связи с самой собой, тогдашней, по прямому трансвременному проводу — сказала бы я ей: смотри, этому предстоит стать твоим прошлым — твоей единственной и неисчерпаемой молодостью, твоим смысловым и экзистенциальным ресурсом. Смотри, смотри, смотри во все глаза, насыщайся бытия, запоминай: ничто не случайно, то есть ничто не слепо, ничто не мимо.

А я смотрела — себе под ноги, внутрь себя, во все глазищи — в прошлое, в воображаемое, в несбывшееся, в невозможное, в книги о другом и далёком. Это тоже надо было, да. И всё-таки.

Сейчас как тучнейшая почва воспринимается то, что тогда казалось временами скудными и жёсткими; что мнилось жестоким воздержанием от бытия — теперь чувствуется его избытком.

Собственно, так же стоило бы относиться и к происходящему сейчас: нет, оно не кажется воздержанием от бытия, отнюдь, — во многих отношениях скорее уж избытком. Просто стоило бы помнить, что (е.б.ж.) оно станет таким же ресурсом в будущем: смотреть во все глаза, насыщаться, запоминать — и знать, что ничто не мимо и не слепо.

Матрицы

И застревай, застревай на этих воспоминаниях, пока не надоест. Повторяй их, сколько душе угодно. Потребность в повторении тоже ведь зря не заводится.

Прокручивая внутри себя в который уже раз некоторые ключевые мысли, темы, образы, состояния... шлифуешь их, проясняешь; наращиваешь в них слой толкований — обогащаешь (собственную внутреннюю руду). Тусклое делаешь блестящим, смутное — отчётливым. Это постоянная работа уточнения — неотделимая, разумеется, и от мифологизации. Выглядит парадоксально, но внутреннее — оно вообще такое. Это же космизация хаоса. Мифологичность некоторых событий входит в состав их точности — тех, которые из просто-событий превращаются с течением времени и работой памяти в события-ориентеры, в события-матрицы — а там, глядишь, и в персональные архетипы.

Думаешь, наконец: то самое ушедшее, что чувствовалось когда-то таким мучительно-бессмысленным, затем и было, чтобы стать — раз и навсегда — твоей внутренней формой, неутрачиваемой, вроде душевного скелета (у души тоже есть и твёрдый костяк, и мягкая плоть, и текучая кровь — элементы, то есть, разной степени подвижности и изменчивости). И для этого — для надёжного вращивания внутрь — всей той жизни, как внешней реальности, конечно же, надо было оказаться утраченной. Утраченному внешнему ничего не остаётся, кроме как превратиться во внутреннее — и не исчезать уже никогда.

С течением времени, по мере вращивания когда-то прожитого в общий массив душевного материала, сращения его с ним, даже совершенно случайные в своём исходном виде

события приобретают статус архетипичных — и возвращаются затем, и формируют, как матрицы, новопереживаемое. И это задним числом с изумлением обнаруживаешь, застаёшь себя за этим, когда и не чаешь. События такого рода способны застигнуть нас когда угодно — не обязательно, то есть, в гораздых на образование первоформ ранних возрастах, — и заметиться, и осознаться в качестве таковых — формирующих, направляющих — тоже способны когда угодно, хоть бы и годы спустя.

Всплывая в памяти — по обыкновению самопроизвольно, — они организуют вокруг себя душевный материал, задают внутренние изгибы душевным процессам, некоторые ноты внутреннего звучания — работая, разумеется, как начало не смысловое, но предсмысловое, сообщающее смыслу условия возникновения.

Подумаешь вдруг: всё обилие прежней жизни случилось с тобой затем, чтобы можно было видеть это во сне — включая сны наяву, — произвольные и, казалось бы, Бог весть чем мотивированные образы, пронсящиеся подвижным фоном мимо всякого твоего восприятия, — сращивая это в личные, обладающие персональной, лишь тебе адресованной объёмностью символы, в несловесные слова единственного внутреннего языка. Для наращивания внутреннего слоя, для стереоскопичности каждого проживаемого мгновения.

Сейчас

Так чем же, собственно, создаётся прошлое? Дистанцией? Да какая там дистанция. Как раз напротив. Прошлое, получается, тогда только и оформляется в прошлое, когда окончательно становится настоящим — когда понимаешь, что никуда оно не денется. Прошлое — это то, что навсегда. Чему уже не пройти.

Ведь самое потрясающее, что в старых книжных полках живы прежние запахи (не говоря о физической оболочке книг, фактуре и сообразной времени потёртости их переплётов, виде их страниц, форме их шрифтов). И вот они возвращают растерянному человеку всю, в мельчайших подробностях, включая забытые, совокупность ушедшей жизни, всю её живую, дышащую массу. Она вся оказывается *сейчас*, между нею и тобой не обнаруживается никакой дистанции — напротив, прежняя беззащитность перед ней, и страннее

всего то, что время вообще существует.

Возраст — нарастание количества пространств, в которых одновременно живёшь здесь-и-сейчас. Нарастание объёма настоящего — даже, наверно, сиюминутного.

Краткость — лучше сказать, исчезающая мимолётность! — жизни отчасти компенсируется (как это часто случается с компенсациями, эта тоже тяготеет к избыточности) способностью жизни накапливаться внутри и присутствовать там — в каждом из проживаемых моментов! — всей-целиком, всей-одновременно. Этот прозрачный (во все стороны видно; видно многое сразу) внутренний ком постоянно растёт, не теряя старых связей и прорастая новыми. Назвать ли эту внутреннюю стереоскопию «памятью»? Память — вещь всё-таки более или менее умозрительная, а это прошедшее всё — живётся, проживается. Чувствуешь себя звукозаписывающим устройством, на котором звучат все записанные мелодии сразу. Притом каждую различаешь — и звучание каждой слышится на звучании всех остальных. Чем дальше, тем всё более существование становится сплошным воспоминанием-настоящим, бесконечным навязчивым проигрыванием одних и тех же пластинок, которые сама же и записываешь. Они, впрочем, за годы накопления вполне друг с другом сыгрываются и образуют отнюдь не какофонию, но, напротив того, слаженное, объёмное, стереофоническое звучание. Заслушаешься.

Человек — форма консервации времени. Нет, не культура, совокупность систем кодирования того-себя, как думается во вторую очередь, а именно сам человек, со всеми своими телесными и душевными подробностями, мелочами, зацепками. Пока мы живы — ничто не пропадает.

Пуще того: в форму памяти, в форму иносказания человек, не хуже царя Мидаса, превращает решительно всё, чего ни коснётся.

Так весь город твоего многолетнего обитания — начиная с какого-то момента, едва только скапливается достаточно критическая масса прожитого и нажитого здесь внутреннего опыта, — превращается в сплошную машину времени: едва ли не из любого места в нём постоянно отправляешься в ту или иную точку своего, связанного с этим местом прошлого. Никогда же не живёшь «просто так», без дополнительных

смысловых подтекстов. Происходит перенасыщение прошлым.

Вообще, когда просто долго-долго живёшь на одном месте, оно, аккумулируя понемногу твой опыт, твою память, твоё время, наконец переполняется ими; накопленное достигает невыносимой, жгучей концентрации, и уже шагу нельзя ступить без того, чтобы не провалиться во все слои своей жизни сразу, не подвергнуться их одновременному и многократному воздействию. Любой незначительный акт типа включения света или вынесения мусора превращается в живое — без кожи, нервами наружу — воспоминание. Эта, прости Господи, гиперсемантическая каждой крупинки существования — чрезмерная (столько, казалось бы, не надо) полнота жизни и страшная несвобода от себя и своего — одновременно.

Иной раз подумаешь, что человек умирает, чтобы бежать куда-нибудь уже от этого распирающего, подавляющего избытка.

Вот и застаёшь себя за пониманием того, что новизна как ценность, во-первых, конечно, важна, а во-вторых, что ещё более интересно, она — ценность вторичная, производная, зависимая, инструментальная. Она — не целевая ценность, сама по себе она вполне пустопорожня. Но она освобождает нас от прошлого, склонного разрастаться и костенеть по мере разрастания. Новизна — средство (какое ни есть — другого не вижу) от избыточности прошлого, от извести в крови. Она нужна просто уже затем, чтобы выбивать нас из сложившихся, вязких, засасывающих состояний и тем самым способствовать жизни — движению в противовес смерти — остановке.

И, наконец, затем, чтобы в свой черёд благополучно стать прошлым — объектом тоски и благодарности.

С. И. Голенков

Memento mori, или Парадокс под именем «настоящее»

Остановилось время. Шли часы,
а между тем остановилось время,
и было странно слышать в это время,
как где-то еще тикают часы.

Они еще стучали, как вчера,
меж тем как время впрямь остановилось,
и временами страшно становилось
от мерного тиктанья часов...

Юрий Левитанский

«Остановилось время. Шли часы...»¹

Какой-то диссонанс ощущается в этих строках поэта: остановилось время, а часы идут; страшно становится от мерного тиканья часов?! Обычно все наоборот. Часы останавливаются, а время продолжает идти. Как его можно остановить? Как оно может остановиться? Фаустовское «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — неизбывная мечта человека. Многовековые поиски философского камня, эликсира бессмертия, средства Макропулоса и т. д. показали невозможность остановить время, как и создать вечный двигатель — этот технический вариант человеческого бессмертия. Живопись, фотография, кино лишней раз подтверждают тщетность этих попыток. И потом, мерный ход часов успокаивает, а не приводит в ужас, не нагоняет страха. Значит, эти поэтические строки о чем-то ином в нашей жизни...

Мечта о бессмертии как счастливом существовании посещает каждого из нас. За советом о счастливой жизни обращаемся к мудрости. И на свой вопрос, как жить жизнь счастливо, получаем ответ: живи здесь-и-сейчас! Будь счастлив сейчас, а не потом. Залог счастья в понимании того простого факта, что потом нет. Потом только смерть. Помни

¹ *Левитанский Ю.* Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом: Стихи. М. : Советский писатель, 1981. С. 5.